



Интервью с Константином Вадимовичем ГРИГОРИЧЕВЫМ

«НЕ СКАЖУ, ЧТО ГОД РАБОТЫ В РОЛИ “МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО” БЫЛ СОВСЕМ БЕСПОЛЕЗЕН»

К. В. Григоричев — окончил исторический факультет Барнаульского государственного педагогического университета, кандидат исторических наук (2000), начальник научно-исследовательской части, руководитель лаборатории исторической и политической демографии Иркутского государственного университета.

Основные области исследования: процессы субурбанизации и формирования социального пространства пригородов, мигранты и принимающие сообщества, региональные демографические процессы

Интервью состоялось: ноябрь-декабрь 2014 г.

19 января 2015 года Елена Григорьева, дизайнер сайта Центра социального прогнозирования и маркетинга и со-участник создания электронной интерактивной книги «Биографические интервью с коллегами-социологами», разместила в фото галерее респондентов 90-е интервью¹. Это означает, что позади — долгая история и большая работа.

Фото галерея, являющаяся одним из важнейших элементов этого онлайн-нового издания, имеет вид геометрической фигуры, в которой десять столбцов и постепенно увеличивающееся количество строк; последняя из которых иногда заполнена полностью, но чаще — урезанная. Понятно, в тот момент, когда последняя строка — полная, фигура приобретает вид прямоугольника. Легко понять, что сейчас вся совокупность фотографий образует прямоугольную матрицу, в которой девять строк и десять столбцов

¹ Докторов Б. З. Биографические интервью с коллегами-социологами. 4-е дополненное издание [электронный ресурс] / Ред.-сост. А. Н. Алексеев. Ред. электр. издания Е. И. Григорьева. М.: ЦСПиМ, 2014. URL: <http://www.socioprognoz.ru/publ.html?id=385>

Фото галерея респондентов на 19 января 2015 года



Следующая прямоугольная матрица фотографий будет иметь 10 строк и 10 столбцов, т.е. будет квадратом, содержащим 100 фотографии советских / российских социологов. Конечно, я жду этот момент, однако, было бы неверно утверждать, что в конце 2004 года, т. е. 10 лет назад, когда мои беседы с коллегами лишь начинались, у меня была цель – провести 100 биографических интервью. Подобная цель была невозможной. Она казалась бы мне нереалистичной, недостижимой и, скорее всего, не мотивировало бы работу, а, наоборот, тормозила бы ее. Ибо нельзя стремиться к тому, чего нет и быть не может.

На старте работы лишь было желание поговорить со старыми, добрыми коллегами об их пути в социологию, о работе, немного о прожитом и было смутное представление о том, что собранная информация когда-либо будет использована при изучении истории современного этапа российской социологии. В первые два года работы (2005 и 2006 гг.) в питерском журнале «Телескоп» было опубликовано 10 интервью; затем, открывшиеся тогда новые возможности позволили в 2007 году закончить и опубликовать 11 интервью. Во все последующие годы, с 2008 по 2013, ежегодно публиковалось от 4 до 8 бесед, и за все эти шесть лет — 31 интервью. Все они первоначально выходили на страницах различных журналов, а затем начиная с 2011 года, размещались в ранних версиях книги «Биографические интервью с коллегами-социологами». Таким образом, к завершению 2013 года было проведено и опубликовано 52 интервью.

Но (!) в 2014 году — в силу ряда обстоятельств — произошел мощный скачок в технологии сбора и публикации материалов бесед. И активно этому способствовал выход в свет 4-го издания «Биографических интервью с коллегами-социологами». Стало возможным размещать завершенные интервью непосредственно в Интернете, не дожидаясь их появления на страницах журналов.

Главным мотивом ускорения процесса интервьюирования стала накопившаяся за десять лет усталость от проведения бесед; это очень сложное, по многим причинам, дело, и в течение десяти лет я занимался им практически ежедневно. К тому же, все острее ощущалось желание закончить сбор информации и перейти к ее анализу. Ведь собираемая, постоянно увеличивавшаяся информация не мертва, не неподвижна, она давит на исследователя, многое определяет в его поведении.

Отмечу еще один момент, для кого-то — возможно, метафизический, для меня — «физический», реальный. К весне 2014 года, когда количество завершенных интервью приближалось к 60, вдруг «замаячило» представлявшееся ранее сугубо мифическим число 100. Некоторые мои друзья уже начали намекать на необходимость сотни интервью, я не отказывался, хотя считал это лишь дальней перспективой. Но в моем пифагорейском сознании числа не абстракты, они говорят. Постепенно планка — «100 интервью» уже не казалась недостижимой, и ее преодоление виделось не рекордом, а нормальным завершением операции по сбору данных.

При этом, матричная структура галереи, в которой постепенно происходило увеличение фотографий, превратилась в динамическую модель процесса интервьюирования, а она, как известно, обладает «властью» над ее создателем.

Теперь, когда опубликовано 90 интервью, можно открыть «обратный счет»; до 100 осталось 10, 9, 8,... и так до «биографического квадрата»

Интервью с Константином Вадимовичем Григоричевым дает возможность начать 10-ый ряд в нашей матрице и продолжить две достаточно новые линии нашего проекта. Одна из них — изучение социологов шестого поколения, тех, чьи годы рождения заключены в интервале 1971-1982 гг. Вторая линия — исследование биографий и деятельности наших зауральских коллег. Он родился в Челябинске, его студенческие и аспирантские годы прошли на историческом факультете Барнаульского педагогического университета, несколько лет он работал в Казахстане и с 2006 года живет и работает в Иркутске. В целом, он человек, с достаточно рано сложившимися научными интересами, включающими в себя

демографические, миграционные и этномиграционные процессы в Сибири. Несмотря на молодость, он обладает солидным теоретическим опытом в разработке указанной тематики, участвовал в экспедициях, работал в административных и властных структурах, включен в преподавание различных курсов.

Здесь я должен извиниться перед Константином. 30 октября 2014 года в Тихоокеанском государственном университете в г. Хабаровске он успешно защитил докторскую диссертацию по социологии на тему: «Пригородные сообщества как социальный феномен: формирование социального пространства пригорода», а через пару дней я, даже не дав ему отдышаться, отправил ему приглашение к интервью.

10 ноября мы начали нашу беседу и в первой половине декабря закончили.

К. В. Григоричев: «Не скажу, что год работы в роли “муниципального служащего” был совсем бесполезен»

Константин, в моем проекте неожиданным для многих, отчасти — для меня, заиграли истории имен моих собеседников. К примеру, мои интервью с петербургскими социологами Будимиром Гвидоновичем Тукумцевым, Михаилом Илле, Дмитрием Гаврой, Еленой Эмильевной Смирновой, Чеславом Эрастовичем Сымоновичем вводят в очень интересные личностные миры...

Ваша фамилия, похоже, — нечастая производная от имени Григорий. Что Вы знаете о ее происхождении? Насколько Вы вообще знакомы с прошлым Вашей родительской семьи?

К сожалению, сведения об истории фамилии у меня скорее отрывочные: в семье крайне редко поднималась тема ее истории дальше, чем поколение родителей моих родителей. О происхождении фамилии нередко говорит мой отец Вадим Владимирович: «Наша цыганская фамилия». Несколько раз упоминался его дед, который «был таборным цыганом и до самой смерти подписывался крестиками». Имени прадеда достоверно я не знаю, могу только предполагать по имени деда (папиного отца), которого звали Владимир Владимирович. Над моими цыганскими корнями часто посмеиваются (сероглазый блондин плохо вписывается в образ цыганского табора), но младший брат отца — Алексей, в молодости был совершенно цыганского вида: крупные смоляные кудри, темные глаза, бесшабашный характер. Так что цыганское происхождение фамилии мне кажется вполне реальным. Особенно если учесть вспыльчивость и некоторую суровость нрава моего папы и деда...

Родителей отца я знаю не очень хорошо: наша семья довольно рано уехала из родного города папы (и моего) — Челябинска, когда мне было два или три года. По распределению после окончания Челябинского политехнического папу отправили в город Воткинск в Удмуртии, где он работал на заводе Минсредмаша. Там в Воткинске родился мой младший брат. Позже наша семья переехала в Павлодар (Северный Казахстан). Как следствие, в Челябинске мы оказывались не часто, а позднее, когда мои родители разошлись, контакты совсем ослабели. Помню, что дед Владимир Владимирович после войны (по рассказам отца, он воевал в морской авиации в Северном флоте) до самой старости работал на Челябинском трубопрокатном заводе простым рабочим. Дед частенько грубовато проходил по «белым каскам» и подчеркивал свое рабочее происхождение. Хорошо помню едва ли не единственный совместный с родителями отца Новый год, когда дед Володя с некоторым пренебрежением сказал, что «праздник надо встречать в спецовке». Папина мама — Римма Григорьевна, напротив, работала как раз инженером и очень славилась виртуозными чертежами. У отца была просто невероятной красоты готовальня, доставшаяся ему от бабушки. В детстве я часто рассматривал находившиеся в ней циркули и рейсфедеры как произведение чистого искусства, плохо понимая их назначение. Насколько я знаю, бабушка жива, но контактов у меня с ней нет...

Родителей моей мамы — Маргариты Николаевны, я знал чуточку лучше, поскольку с 78 года до начала 90-х они также жили в Павлодаре. Мамин отец — Николай Дмитриевич Губин, по коротким рассказам бабушки, происходил из «вятских поповичей». Сам дед Николай о своей семье никогда не говорил. Бабушка — мамина мама — Лидия Андреевна происходила из рода Мартыновых (тех самых, один из которых вошел в историю русской литературы). Однако ее отец, как рассказывала бабушка, довольно рано ушел из семьи «по убеждениям», работал инженером-путейцем где-то в Закавказье и Средней Азии. Бабушка не очень любила говорить о прошлом своей семьи. Думаю, это связано с опытом 30—40-х, когда вспоминать о дворянском происхождении было небезопасно. Да и сама она была убежденной большевичкой. Едва ли не самые ранние мои воспоминания о ней связаны с ее «колыбельной» песней: «Там вдали за рекой». Лишь однажды она попыталась рассказать мне о своих родителях, но в силу подростковой неразумности я не проявил должного интереса и внимания. Теперь же, увы, восстановить эту историю, наверное, почти не реально.

С дедушкой бабушка Лида познакомилась на фронте. О подробностях они оба почти не говорили, но, вероятно, это произошло в 43-м. Дед Николай, после окончания «пехотного училища» (именно так он его называл) в должности командира пулеметного расчета оказался на Курской дуге, где в первом же бою был тяжело контужен и война для него закончилась. Бабушка же, воевавшая, если я правильно помню, с 42 года (санинструктор, долго была на переднем крае, затем медсестрой в полевых госпиталях), вынесла его из боя. Как сложились их отношения в семью, они оба практически не рассказывали. В 46-м у них родился старший брат мамы — дядя Юра, а в 52-м — моя мама. Вскоре мамина семья переехала в Иркутскую область в строящийся тогда город Ангарск, где прожила до конца 70-х. Сейчас никого из родственников в Иркутской области не осталось, и то, что я оказался здесь — такая замысловатая петля.

Очень у вас интересная история, в ней многие важнейшие страницы постреволюционной и даже глубже истории страны. В школу, похоже, Вы пошли в Павлодаре, и там проучились все годы? Чем запомнились школьные годы? Были ли гуманитарные интересы, которые позже привели Вас в социологию? Или все было не так однозначно?

Восприятие октябрятско-пионерской составляющей детства у меня было, наверное, очень типичным. Прием в октябрята помню почти как вчера: поздняя осень, темное утро, несколько классов взволнованных, накрахмаленных ребят-тишек, суетящиеся учителя и многозначительные пионеры, поглядывающие на нас свысока. Жуткое волнение, ощущение чего-то невероятно значительного, какой-то магии... Чуть позднее одним из волнующих и отчасти травматических «октябрятских» сюжетов стало мое не участие в «параде октябрятских войск». К нему я не смог выполнить ответственное задание — написать лозунг «Родина мать — умей ее защищать» (даже странно, как прочно помниться), а потому был с позором исключен из числа марширующих... Прием в пионеры был не менее волнующим, но уже менее торжественным, не магическим событием. Возможно потому мне не хотелось быть в числе пионерских лидеров, а комната под вывеской «Пионерская» таинственной дверкой в камерке папы Карло не воспринималась. Сходив пару раз на занятия горнистов, интересоваться пионерскими делами

я практически перестал. Хотя галстук носил с удовольствием — просто нравился он мне как единственная стильная вещь во всей школьной форме. «Мы не были шпаной, мы галстук пионерский, сжимали в кулаке от гордости смеясь...» — очень точно узнал себя, когда услышал много лет позднее Ивасей.

В это же время (году в 86-м кажется) я начал заниматься туризмом и спортивным ориентированием. Сначала это были школьные соревнования, потом все стало заметно серьезнее, пошли разряды, походы. Туризм дал возможность побегов из города и другой — не пионерской романтики, дал новые слова, песни, отношения. Именно у костров, а не в литературных кружках впервые услышал песни Окуджавы, Галича, практически весь набор из «политехнического». Ночами слушал рассуждения старших товарищей о «шестидесятых» (в основном в литературном и бардовском контексте). Эти разговоры хорошо ложились на восторженное отношение к Высоцкому, песни которого очень любит отец. Стихи и прозу Высоцкого, с которыми я познакомился классе в седьмом из рукописной отцовской тетради, я не столько понимал, сколько принимал как откровение. Интересно, что запомнившиеся тогда строки («мы тоже дети страшных лет России...») позже не ушли, как многое другое, что казалось важным, значимым в подростковые годы, а много раз возвращалось. Словом, размышления о жизни, как она устроена и почему люди такие, а не иные у меня появились скорее в связи с литературой и поэзией, и специфическим пластом творчества «золотого» времени бардов.

Комсомол стал уже не рациональным, а скорее «приличным» поступком. Образ Павки Корчагина, яркий и значимый для меня классе в пятом-шестом, стал скорее образом литературным, и вне литературы почти не воспринимаемым. Ни как долг, ни как призвание, ни даже как инструмент карьеры вступление в комсомол я не воспринимал. Показательно, что из всего торжественного приема в комсомольцы, хорошо помню только комичную сцену чтения «Стихов о советском паспорте» однокашником: жутко стесняясь, краснея на огромной сцене (билеты вручали в одном из больших городских ДК) в широченных брюках-«бананах», Иван, запинаясь и смущаясь, как будто объясняясь в любви, с паузами с трудом произносит: «Я... достаю... из широких штанин...» В двух рядах от меня смеялся, складываясь почти пополам, третий секретарь райкома комсомола. И вот этот образы краснеющего на сцене однокашника и смеющегося на торжественном мероприятии комсомольского вожака напрочь перебили весь остававшийся у меня к тому моменту пиетет.

Буквально через полгода стало ясно, что в комсомоле мне делать нечего от слова «совсем». Весной девятого класса, чтобы вовлечь меня в комсомольскую жизнь (я даже взносы в 2 копейки платил крайне не аккуратно), моя хорошая приятельница по туристической секции, и по совместительству — секретарь комсомольской организации школы, попросила заменить ее «на секретарстве» на пару месяцев, пока она лежит в больнице. За неполных два месяца я напрочь развалил комсомольскую работу: кабинет комитета комсомола стал «вольнодумствующей курилкой», где во время прогуливаемых уроков обсуждались походы, стихи, история, но месту «политической и комсомольской работе» не находилось вовсе. Это скорее было «игрой в комсомол», легким стебом, и в таком качестве и осталось. Узнавая в последствие о политических и бизнес-карьерах комсомольских работников я, вопреки фактам, испытывал иррациональное недоверие: как

могут строиться столь серьезные стратегии на подобном несерьезном фундаменте? Популярный тогда фильм «ЧП районного масштаба» казался основанным на возможно реальных, но, безусловно, не здешних событиях.

Не могу сказать, что в школе меня сильно тянуло к гуманитарным наукам. Как многие сверстники лет в 9–10 зачитывался «историческим» томом детской энциклопедии, но больше ее «археологической» частью. Где-то в это же время прочитал ефремовское «Лезвие бритвы». Вообще очень любил читать — Жюль Верн, потом Лондон, постепенно перечитал почти все, что было в доме, включая советскую «классику». Был записан разом в несколько библиотек и везде стоял в очередях на ту или иную книгу. Пожалуй, это самое сильное воспоминание о школьном детстве — безудержное какое-то чтение. Времени на него оставалось немного — помимо школы у меня была музыкальная студия по классу фортепиано (никогда после не жалел об этих семи с половиной годах мучений, но тогда было до соплей обидно мучиться с музыкальным домашним заданием, когда сверстники гуляют), различные спортивные секции, занятия у мамы в ансамбле (она у меня хореограф). Поэтому при каждой возможности хватался за книгу: за едой (если был один), одеваясь, делая вид, что учу уроки... Мама со смехом вспоминает, как находила книги, спрятанные мною в самых неожиданных местах для того, чтобы можно было ночью незаметно читать (отец строго следил за нашим режимом дня).

Но серьезного увлечения именно гуманитарными науками не было. Лет в 13, кажется, я твердо решил стать врачом-хирургом, пошел в научное общество школьников при Дворце пионеров и несколько лет прилежно его посещал. Мне очень нравились и теоретические занятия, и своего рода «практика» в больницах (нас водили и на операции, и на дежурствах бывали, и даже ассистировали на простых манипуляциях). Много из того, чему научился тогда, до сих пор очень пригождается. Но мечта рухнула, когда стало очевидно, что химия навсегда останется для меня самой загадочной и непостижимой наукой. Не наукой даже, а какой-то магией, таинством. Поскольку, не смотря на весь юношеский задор, мне иногда (но не часто!) удавалось трезво оценивать свои возможности, с мечтой о «меде» пришлось расстаться.

Вялая попытка закончить подготовительные курсы в Павлодарском индустриальном институте убедила и меня, и маму в том, что техническое образование — «не мое». Хотя до восьмого класса с точными науками у меня отношения складывались успешно, тригонометрия и логарифмы с интегралами мне не покорились. И, наверное, главное — мне становилось все более скучно с «железками»: самой сложной техникой, которую я понимал и всегда мог наладить, был велосипед. А обычные подростково-юношеские разговоры об авто, появившихся тогда первых компьютерах, особого интереса у меня не вызывали. Научившись писать простые программы на программируемом калькуляторе и не получив ожидаемого чуда (казалось, что должно получиться нечто эдакое), интерес к новинкам техники почти потерял. Позже, когда стали доступны персональные компьютеры, интерес к ним вернулся, но это было уже много позднее.

Понимание того, что медицина мне не доступна, а техника и естественно-научные сферы — не интересны, совпали по времени с брожением умов в конце 80-х. Как-то неожиданно для меня и, кажется, сверстников, оказалось можно говорить о самых разных вещах. Суть именно в этом «можно»: разумеется, мы

в своем кругу говорили на самые разные темы, но вдруг из частного пространства они оказались вынесены в публичное. И не только не пресекались, но и активно поддерживались частью учителей. Пришло ощущение драйва, какого-то не всегда рационального увлечения темами недавней истории и современного общества, даже какой-то погруженности в эту сферу. Стремительная переоценка пионерско-комсомольских ценностей (в комсомол я успел приняться) «удачно» совпало с юношеским бунтарством. В последнем классе я перешел в другую школу и после едва ли не первого сочинения поссорился с учителями литературы. Эпиграфом к своим рассуждениям о романе Горького «Мать» я поставил короткий отзыв о романе, как-то походя почерпнутым из дневников Толстого: «Скучно». Двойка (наверное, совершенно справедливая) стояла сразу после эпиграфа, даже без прочтения моих пространных рассуждений о романе и его несоответствия моим представлениям пред-советской России. И как-то и дальше отношения с учителем не сложились. Наверное, поэтому потребность обсуждать прошлое и настоящее не реализовались в литературной сфере, хотя было очень увлекательно говорить о том или ином вопросе, отталкиваясь от текста. И естественным образом мне все больше стали интересны уроки обществоведения, которые тогда воспринимались как довесок к «истории».

Слова «социология» при этом вообще не употреблялось. Думаю, я даже не знал о нем (хотя не поручусь). Почти все наши рассуждения об обществе, так или иначе, вытекали из исторических сюжетов, и, пожалуй, я искренне воспринимал «общественную» проблематику как раздел истории. Поэтому к окончанию школы в силу склонностей и интересов я все больше склонялся к поступлению на исторический: писал письма в институты и университеты, интересовался конкурсом, условиями поступления. Было очевидно, что придется уезжать из дома, поскольку в Павлодарском педагогическом (единственная местная альтернатива «Индусу») исторического факультета не было.

Спасибо, Вам удалось показать движение. Не скучно. Чем же завершились Ваши поиски?

Поиски завершились историческим факультетом Барнаульского педагогического. Совсем не потому, что хотелось быть учителем, скорее так сложилось. С первого захода я не поступил. Мне срезали балл на экзамене по истории на вопросе, который я до сих пор с удовольствием задаю коллегам-историкам и ответа пока не получил: «Назовите немарксистские рабочие партии в революции 1905 года». Несколько месяцев я проработал грузчиком в родном городе, а затем поступил на рабфак все-того же Барнаульского педа. Совершенно не жалею об этом, казалось бы потерянным годе. С одной стороны, это была жесткая, но нужная школа жизни: общежитие вместе с физкультурным факультетом, голодный 91-й и прочие прелести. С другой стороны – на рабфак преподавать историю пришла молодая преподаватель института, незадолго до этого защитившая кандидатскую – Татьяна Кирилловна Щеглова. Она стала, по выражению Виктор Иннокентьевича Дятлова, моей научной мамой. Фактически с нее началось развитие этнографии некоренного населения и устной истории на Алтае и мне повезло учиться и работать с ней. Человек строгий и волевой, она, тем не менее, давала мне большую свободу в определении интересных тем, подходов, взглядов. Каждое лето, начиная с 92 и до 2002, я ездил в полевые экспедиции

по районам Алтайского края, где основным методом работы были интервью. Видимо, тогда и сложились мои предпочтения в исследовательской работе: до сих пор мне более интересны качественные методы. Знаю, что эти экспедиции продолжаются до сих пор, и каждое лето Татьяна Кирилловна едет со студентами в «поле», иногда тянет присоединиться, но пока не получается...

Студенческие годы, кроме, разумеется, веселой жизни, стали возможностью войти в научную среду. Как раз с начала 90-х на истфаке создается лаборатория исторического краеведения, где я работал сначала на общественных началах, а потом и на ставке лаборанта. Там мне довелось познакомиться поближе с «внутренним миром» научного коллектива, появилось ощущение приобщения к нему, повстречаться со множеством интереснейших людей. На четвертом курсе вышла первая публикация (небольшие тезисы), ощущения от которой, наверное, знакомы всем, кто пишет. Думаю, работа в лаборатории заменила мне увлечение КВНом или иной самодеятельностью и другими традиционными студенческими занятиями. Разумеется, это никак не отменяло участие в разного рода вечеринках («ботаником» в полном смысле я не был), но вносило в жизнь какой-то дополнительный стержень, который постепенно становился основным.

Уже ко второму-третьему курсу мне все более интересными стали темы, связанные не столько с этнографической проблематикой, сколько с развитием населения. Диплом был посвящен миграционным процессам середины XX века на Алтае в связи с основными событиями советской истории этого времени. Как-то незаметно возник интерес и к историко-демографическим исследованиям (причем более демографическим, чем историческим), что определило и тематику кандидатской. В аспирантуру я поступил там же в педагогическом университете по отечественной истории. Несмотря на все бытовые сложности, аспирантура прошла гладко и вполне результативно: закончил в октябре 2000-го с текстом и через месяц защитился в Алтайском госуниверситете.

Складывается такое ощущение, что в университете Вы с утра до вечера и на протяжении всей недели были на лекциях, в библиотеке и экспедициях. Возможно, конечно, но скорее всего были и другие стороны студенческой жизни. Пожалуйста, поделитесь своими воспоминаниями о них...

Описанный выше опыт политической активности в школе, возможно, стал мощной прививкой от любой партийной деятельности. Уже в студенчестве мне было не интересна и скучна любая около партийная активность: региональными отделениям возникавших тогда партий и движений я интересовался примерно также, как и разного рода религиозными конфессиями, также массово появившихся в первой половине 90-х. Знакомство, один-два визита на мероприятия (будь то партийное собрание или чтение религиозной литературы) и расставание навсегда. С юмором и ноткой пустой гордости на вопросы о «партийных» пристрастиях отвечаю, что единственной партией, в которую я вступил осмысленно и по зову сердца, была студенческая «партия анархистов-гедонистов». «Партия» эта была создана на пятом курсе «на троих», и главным ее постулатом значилось: «гедонизм одного человека, заканчивается там, где начинается анархизм другого». При всем смехе, идея не хуже многих.

Почти все студенческие годы я прожил в общагах. Общежитие — особый мир, по крайней мере, у меня осталось такое послевкусие от в общей сложности шести лет, прожитых в нескольких студенческих общежитиях. Даже странно, что этот сюжет — общаги начала девяностых — не попал в фокус социологических работ до сих пор, насколько я знаю. Мне встречались интересные зарисовки из сегодняшних общежитий, но девяностые, кажется, прошли бесследно. Начало девяностых везде было временем болезненных родов новых отношений, но в общегае этот интимный процесс был открыт обозрению всех живших там. Здесь хорошо было видно, как мои сверстники вписывались в новую систему жизни, пытались осваивать ниши, возникавшие или становившиеся доступными тогда, в том числе и криминальные и около криминальные. Не скажу, что я тогда всерьез анализировал происходящее с окружающими людьми и со мной, скорее интуитивно что-то принимал, что-то отторгал — самых разных примеров было множество. Однокурсник, с которым я довольно близко приятельствовал, торговал на рынке поддельными сертификатами и прочими документами, которые были нужны для торговли. Короткая история его «коммерческого» взлета и падения прошла у меня перед глазами буквально за несколько месяцев: шальные, безумные просто по студенческим меркам деньги, абсолютная не готовность к ним, бездумные покупки, кутежи — и милый деревенский парень превратился в «синяка» с потухшими глазами. Среда, в которую он попытался встроиться, лихо его переварила и выбросила. Такие типажы потом легко узнавались по отстраненным взглядам, поношенным лицам, обиженной безразличности к жизни. Такие иллюстрации неуспеха...

Другой вариант «неуспеха» — знакомый «военрук» Витька, с которым мы вместе ходили тренироваться в универовский спортзал. Он с самого начала нашего знакомства не скрывал, что для подработки ходит «постоять» (обозначить силовое присутствие на «стрелках»). Позднее как-то рассказывал о том, что делается это под прикрытием «корочек» отряда по содействию милиции, была тогда подобная структура. Несколько раз «обламывал» гостей, приходивших посмотреть на наших тренировки (рукопашный бой) и желавших со мной познакомиться. Смысл этого я понял, когда Виктор на одном из «постоять» получил тяжелое ранение... До сих пор вспоминается, как проход по краешку...

Интересно было видеть, как по-разному выстраивали стратегии выживания деревенские и городские ребята, жившие в общежитии — местные, барнаульские были мало вхожи в мир общаги, только гостями. Большая адаптированность к городским условиям студентов из городов, компенсировалось у «деревенских» визитами родителей с «передачками» и наличием родственников в городе (Барнаул до сих пор очень деревенский город). Для «деревенских» вообще были мало характерны рискованные стратегии, которые диктовались необходимостью выживания — всегда можно было уехать домой «подкормиться». У приезжих из городов шансов на это почти не было — отсюда рискованные авантюры (мне самому случалось наниматься на срочную ночную разгрузку фуры, явно пригнанной не по месту назначения), иногда реальный голод. Возможность всегда прокормиться в общежитии — это все-таки в значительной мере миф, или точнее — стереотип, не всегда работавший в начале девяностых.

По вечерам весной и ранней осенью, когда можно было «торчать» в окнах, мы сначала с интересом, а потом скорее безразлично рассматривали соседнее общежитие, где жила наша педовская элита — «иняз». Это общежитие, в отличие от нашего и прочих, которые я знал, жило по совершенно особому графику: ближе к 9–10 вечера к подъезду стягивались редкие тогда еще иномарки, в которые стайками слетались «иностранки», чтобы к утру, «усталыми, но довольными» вернуться обратно и успеть к 8 на занятия. Интересно, что этот сюжет не воспринимался тогда живой иллюстрацией к «Интердевочке», а был вполне нормальной частью повседневности. То, что раньше и позднее резало глаз, в тот момент было органично — крутятся девочки, кто как может, никто не осудит.

Отдельная история — студенты физкультурного факультета — «спортачи». Они разительно изменились за мои студенческие годы. На рабфаке (это осень 1990 весна 1991) я застал еще последние наборы «военруков» (совмещенная специальность «учитель физкультуры — НВП»), которые были людьми суровыми, тяжелыми, казавшимися намного старше нас (на самом деле — лет на 5–6 максимум), но имевших более или менее понятные правила жизни и отношений. Неписанные эти правила вряд ли были хорошими или плохими, гуманными или жестокими, но они были. Поняв их ценой довольно болезненных (в прямом смысле) ошибок можно было вполне сносно с «военруками» сосуществовать, а иногда и приятельствовать. Отмена НВП как школьного предмета, как теперь понимаю, не только стала символом демилитаризации школы и причиной исчезновения «пенсионных» рабочих мест для отставных офицеров. Изменились и требования к поступающим на физкультурный, что «удачно» легло в тренд криминализации жизни... Уже через год-два в составе «спортачей» произошел какой-то качественный слом: в подавляющей своей массе они стали выглядеть и вести себя откровенно мелко уголовно... Ощущение от этой перемены я очень точно узнал в прочитанных где-то в это же время бунинских «Днях окаянных»: «Как-будто самые отвратительные хитровские типы, стократно умножившись...». Самое тяжелое было понимать, что выпускники и даже старшие курсы «спортачей» делились примерно поровну: на тех, кто будет сажать, и тех, кого будут ловить. В общаге между ними особой разницы не было, и предпосылок к ее возникновению не ощущалось. Не часто, к счастью, сталкиваясь впоследствии с милицией/полицией убеждался, что таких предпосылок и не появилось... Эти сюжеты мне приходили на память и при чтении Волковского «Силовое предпринимательства», и при интервьюировании следователей в рамках небольшого проекта с питерским европейским университетом. Но в общаге об этом почти не думалось, это было «реальностью, данной нам в ощущениях»: два перелома носа я заработал как раз там.

Мои научные занятия в этот момент стали таким вариантом эскапизма. Часы, проведенные в архиве, библиотеке, в лаборатории на факультете давали ощущение другой реальности, в которой голова — это не просто место, в которое едят. Это стало компенсацией тем «побегам» из города, которые давал туризм в школе, поскольку ресурсов для походной юности не было... Формировался другой круг общения, лишь частью пересекающийся со студенческим кругом, живущий по своим, более понятным и близким мне правилам. Мои научные и околону научные занятия однокурсниками сначала не замечались, потом воспринимались как чудачество, к пятому курсу стали некой «достопримечатель-

ностью» (с моего курса в науку, насколько я знаю, пошел только я). Хорошо помню фразу однокурсника, сказанную кому-то постороннему обо мне: «Он не ботаник, он умный». Синий диплом с двумя «тройками», но рейтингом в первой десятке на курсе хорошо укладывался в эту формулировку, сильно льстившей тогда моему самолюбию.

Окончив университет, Вы начали работать или продолжили обучение в аспирантуре?

К пятому курсу как-то самой собой сложилось твердое представление о том, что после университета я из него не уйду, а буду заниматься наукой. Это не было каким-то единовременным, тщательно обдуманым и взвешенным решением. Просто незаметно перестали восприниматься как устраивающие меня все другие варианты развития событий: милиция или ФСБ (довольно много моих однокурсников оказались в этих структурах), школа, работа не по специальности... Весной 96-го на одном из заседаний лаборатории, где я работал, всплыла тема моего предстоящего ухода в связи с окончанием университета. Хорошо помню внутреннее мое возмущение — куда это я уйду? Поскольку место в аспирантуре ежегодно выделялось только одно, и под него уже планировался другой человек, возникла проблема конкурса и договоренностей о приеме в аспирантуру (не секрет, что при ограниченном числе мест конкурс часто становился пустой формальностью). Вопрос решился довольно просто — на год меня отправили в «магистратуру». Таковой тогда, разумеется, не было. Под этим названием работали годичные курсы повышения квалификации, куда зачисляли по несколько человек с каждого факультета. Фактически, это был год на подготовку к аспирантуре, набор материала, подготовку и сдачу кандидатских экзаменов по философии и иностранному. Плюс необременительные (хотя местами весьма интересные) занятия по психологии управления, системам организации управления и т.д. Можно сказать, что нам давался базовый набор знаний и практик по управлению школой — весьма полезный, как впоследствии оказалось, багаж. Летом 97-го я получил «советский» диплом о переподготовке, по которому оказался «менеджером в сфере образования». Такое вот несоветское содержание в советской форме. Вопрос о поступлении в аспирантуру был решен, и уже в июле этого года я мог уверенно сказать, что с октября буду аспирантом.

Аспирантура стала временем не только возвращения в «нормальный» мир — отец купил нам тогда дом на окраине Барнаула, но и началом вхождения в преподавательскую среду. Не скажу, что меня туда сильно влекло — работа в архивах, библиотеках и с полевыми материалами доставляли гораздо большее удовольствие. Но реалии аспирантской семьи, рождение дочери возможности для других вариантов заработка почти не давали. Преподавать пришлось довольно много и это стало хорошим тренингом, хотя всерьез учительское ремесло и «педагогика как искусство» я так и не полюбил. Сейчас я, разумеется, преподаю, но поскольку совместитель, то имею возможность преподавать только те курсы, которые мне близки и интересны. Правда, уже на втором году аспирантуры выяснилось, что головой можно зарабатывать не только в аудитории: выигранная муниципальная стипендия, первый соросовский грант... Хотя по нынешним представлениям, эти удачи свалились на меня довольно поздно, но они удачно совпали с моим взрослением и дали понимание, что можно даже занимаясь наукой кормить

семью. Даже кризис 98-го был пережит на подъеме именно за счет соровского счастья: получая чуть меньше двухсот долларов в месяц в дополнение к двойной (основная плюс муниципальная) аспирантской стипендии и половине ставки преподавателя я чувствовал себя если не богатым, то обеспеченным человеком. Это очень пригодилось впоследствии, поскольку ориентировало искать заработок не физическим трудом (хотя и он случался позже), а на работы, так или иначе связанные с тем, что я умею и люблю делать.

Что удалось показать в диссертации? Прошло полтора десятилетия после ее защиты, время подтвердило Ваши выводы? А что пошло не так, как Вы думали, предполагали?

Диссертация была связана с реконструкцией демографических процессов в Алтайском крае, и главной задачей было восстановить их характер и привязать к ключевым событиям в стране. Конечно, многое в той работе сейчас я бы сделал иначе, многое, как теперь понимаю, было довольно поверхностно, куча сюжетов осталась просто не замеченными. Но были, как мне кажется, и важные находки. Одним из самых интересных для меня стал сюжет о послевоенном голоде и его отражением в демографических процессах конца сороковых — эта тема, насколько я представляю, до сих пор остается практически неизученной. Большим открытием для самого себя стал анализ миграционных процессов в связи с освоением целины: неожиданно выяснилось, что долгосрочное влияние этих процессов на численность и структуру населения оказалось заметно меньшим, чем следовало из стереотипной картины послевоенной истории...

Главное, что выяснилось уже по ходу написания, что мне в большей степени интересны современные миграционные процессы, нежели исторические реконструкции. Защита, как казалось тогда, «развязывала руки» в выборе того, чем заниматься в науке. Думаю, тут сыграли роль и масштабный приток мигрантов на Алтай в девяностые (да и мои родители перебрались сюда в это время), со многими мне довелось пересекаться в экспедициях и первые интервью с мигрантами у меня появляются в это время... Это оказалось безумно интересно, поскольку события, которые находились в фокусе разговора, стали буквально живыми, а не реконструируемыми собеседниками или мною, как исследователем. Интерес добавляло и то, что кроме «процессов» и «структур» в исследовании вдруг появились живые люди. Это было и приятным открытием, и проблемой одновременно, поскольку сюжет «конкретной личности», «биографии» воспринимался как что-то мелкое, «нерепрезентативное», «частный случай». Видимо это стало следствием позитивистской парадигмы истории, в которой, преимущественно, шла у нас подготовка учителей истории. Переживание и рациональное осмысление этого «противоречия» затянулось у меня на несколько лет. Пожалуй, только с середины «нулевых», когда мне повезло начать работать с Виктором Иннокентьевичем Дятловым, этот вопрос для меня разрешился.

Но в 2000—2001 у меня была довольно сложная развилка: продолжить историко-демографическую линию, которая оказалась новой и востребованной, или заняться собственно демографическими исследованиями. Социологические и антропологические сюжеты пока были на периферии, и как серьезное направление я их, наверное, даже не рассматривал. Тогда большую роль для меня

сыграли две школы: зимняя по устной истории в Европейском университете в Питере и летняя по демографии в Усть-Каменогорске. Последняя меня увлекла больше, и выбор оказался в пользу современных демографических сюжетов.

Пожалуйста, расскажите немного о Викторе Иннокентьевиче Дятлове, большинству социологов его работы не известны. Складывается представление, что как историк он подошел к исследованиям в парадигматике исторической социологии.

Виктор Иннокентьевич, думаю, очень хорошо известен всем российским исследователям миграционных процессов и диаспор. Историк-арабист по образованию и значительной части научных интересов, он с начала девяностых вместе с небольшим тогда коллективом учеников и коллег начал исследования этномиграционных процессов на востоке России. Одним из первых в России Виктор Иннокентьевич начал дискуссию о содержании термина «диаспора» на страницах одноименного российского журнала, одним из учредителей которого он является. Его усилиями, фактически, сложилась школа изучения взаимодействия трансграничных мигрантов и принимающих сообществ, прежде всего в условиях гетерогенного переселенческого общества Сибири и Дальнего Востока. Под его формальным и неформальным руководством выполнено множество больших межрегиональных проектов по миграционной и диаспоральной проблематике, сложилась и работает, наверное, крупнейшая исследовательская сеть к востоку от Урала, включающая больше сорока коллег — историков, социологов, экономистов, антропологов. Именно в этих проектах мы познакомились с Леонидом Бляхером, Натальей Рыжовой, в ряде проектов принимал участие Владимир Изявич Мукомель, Сергей Алексеевич Панарин, Бхавна Даве, Сергей Рязанцев, Андрей Коробков...

Но и, на мой взгляд, и по мнению коллег (возьму на себя смелость говорить от их имени), пожалуй главное — это удивительные человеческие качества Виктора Иннокентьевича. Его умение создать невероятно душевную и одновременно очень продуктивную систему отношений в исследовательском коллективе. Это особенно сложно в рамках сетевой работы, когда нет постоянного контакта. Но вот уже много лет друзья и коллеги всегда с воодушевлением относятся к любому предложению работать с ним. Мне крайне сложно проговорить все то, что связано с Виктором Иннокентьевичем, «уважаемым и обожаемым» по словам его учениц.

Вы написали портрет очень интересного ученого и человека, более того, обозначили корни целого научного направления. Замечу, интервью с Леонидом Бляхером уже проведено, с Владимиром Мукомелем — успешно идет.

Похоже, Барнаул становился Вам тесен? Вы все же оставались там или думали о смене места работы?

Тесен становился не столько Барнаул, сколько альма-матер — хотелось уйти с очевидной траектории: ассистент, читающий «что дали», затем доцент со «своими» базовыми курсами, а в далекой и не очевидной перспективе — докторская и возможное профессорство. Дело не в длительности процесса, а в его основном содержании и предписанной на годы вперед размерности заданного средой ритма. Хотелось большое заниматься наукой, делать что-то новое — такое плохо

оформленное, но чрезвычайно мощное желание. Вместе с тем, возникло и более точное понимание неких непеременных для меня условий: категорически не хотелось «под погон». За пару недель до защиты кандидатской мне предложили место заместителя начальника научной части в недавно созданном в Барнауле юридическом институте МВД. При всей близости этой должности к интересующему меня роду занятий и заманчивому в провинции статусу офицера милиции («сразу дадут лейтенанта, диплом из ВАКа придет – «старшего», а там лет через 5 до майора дорастешь»), отказался я от этого предложения без особо тяжких раздумий. Для меня всегда было важно иметь возможность жестко не согласиться с начальством, а «погоны» таковую исключают чуть больше, чем совсем...

Спустя пару лет мне предложили перейти в Алтайский госуниверситет, обещая минимальную преподавательскую нагрузку и широкие возможности для занятий наукой. Я согласился практически не раздумывая, но долго сотрудничества не получилось по разным причинам.

В 2001 году мне повезло попасть на летнюю школу, которую проводил в Усть-Каменогорске НЕСР. Три безумно интересные недели, масса знакомств и увлечений привели к тому, что я стал быстро вливаться в работу молодых казахстанских ученых и преподавателей, работавших в сфере социально-демографических исследований. Эта деятельность активно поддерживалась известным чешским демографом Томашем Кучерой в партнерстве с моим хорошим другом и замечательным ученым-демографом Сашей Алексеенко. Несколько раз бывал в казахстанских городах как участник конференций, семинаров и у меня невольно складывалась образ продвинутой страны, где университетские и научные сообщества быстро развиваются по европейской модели. Справедливости ради скажу, что такой образ складывался не только у меня.

Летом 2003-го я уволился из Алтайского госуниверситета и уехал в Караганду. Лето прошло в увлекательных хлопотах, связанных еще и с участием в новой НЕСР'овской школе по миграции, которую проводила в Смоленске Ирина Молодикова. Именно там я познакомился с Владимиром Изявичем Мукомелем, Галиной Сигизмундовной Витковской, еще несколькими замечательными людьми. А ближе к сентябрю начались типичные эмигрантские хлопоты: мой российский диплом кандидата был никому не интересен, меня даже официально не принимали на работу, хотя лекции я уже полным ходом читал. Только после прямого вмешательства ректора меня, наконец, оформили на работу в должности не остепененного старшего преподавателя. Кандидатский диплом удалось ностарифицировать только через полгода и лишь при неофициальной поддержке завкафедрой, симпатизировавшей мне. У нее была подруга в казахстанском ВАКе, которой то ли с третьей, то ли с четвертой попытки удалось завершить эту вполне абсурдную процедуру. Процесс этот оставил ощущение бытового сюрса: диплом не подтверждали, поскольку процедура защиты в России в 2000 году не соответствовала действовавшей в Казахстане в 2003 году. Содержание работы не интересовало никого, а вот оформление реферата стало камнем преткновения. Пришлось «переиздать» автореферат, включив в него резюме на английском и казахском. До сих пор не знаю точно, что было написано в резюме на казахском...

Вхождение в коллектив кафедры всемирной истории и международных отношений было связано с несколькими составляющими культурного шока. Прежде всего, языковой: кафедра, как и большинство в казахстанских вузах, была двуязычной, и при обсуждении какого-либо вопроса часть коллег могла внезапно перейти на казахский. Оставшаяся часть присутствующих оказывалась изолированной, включая заведующую кафедрой... Это был острейшим шоком, поскольку по тональности разговора, жестам, взглядам часто было видно, что речь идет, в том числе и о вопросах, касающихся тебя. Стимулом, однако, для изучения языка это не становилось, поскольку и профессиональное, и бытовое общение шло на русском.

Большинство коллег, либо уже много лет работали на кафедре, либо были выпускниками КарГУ – коллектив был давно и прочно знакомый, многопоколенный. Моя «чужеродность», однако, была не только проблемой, но и важным ресурсом: меня никто не знал как студента или аспиранта, и в коллектив я пришел вполне взрослым человеком, с какой-никакой репутацией. Это избавляло, с одной стороны, от отношения в стиле «мой мальчик», с которым часто сталкиваются выросшие и работающие на «своем факультете», а с другой – от дополнительной работы, которую время от времени «в порядке шефской помощи молодому преподавателю» свешивали на молодых ребят старшие коллеги...

Знакомство с «научной сферой» факультета было для меня несколько неожиданным: ближе к новому году попросили сдать отчет о публикациях за прошедший год. Как просили, принес перечень своих 8 или 9 публикаций, вышедших за тот год, и получил уточнение: нужно только за один год, а не все ваши публикации. После того, как «недопонимание» разъяснилось, кафедра стала лидером «по науке» на факультете. Казалось бы, должно работать только в плюс. Но позже друзья мне шутливо пояснили, что это «неприлично»: нужно было спросить, сколько нужно, есть же еще и аксакалы. Доля шутки в этой шутке, конечно, была...

Тем не менее, участие в нескольких научных проектах и пусть шапочное, но знакомство с известными авторами, дало инструмент для закрепления своих позиций. Приходилось осваивать правила игры и волей-неволей включаться в нее: упомянутые в разговоре несколько имен позволяли успешно выпадать из локальной иерархии, позволять себе безнаказанно нарушать неофициальный дресс-код и правила поведения, курить в туалете и совершать прочие «мелкие пакости». Иногда делал это не только по внутренней убежденности, но и по велеанию шила в известном месте. Всегда читал лекции и вел семинары в свободной манере, не считая неприличным присесть верхом на парту или делать лирические отступления в рамках предмета... Однажды меня застал в таком виде один из факультетских начальников: я что-то рассказывал студентам, сидя верхом на парте, и по привычке был одет в джинсы и свитер. Вызвав коридор, он укорил меня, апеллируя к статусу «Вы же доцент!». Ответил я ему в классическом стиле – «И что?» и не получив ответа вернулся к студентам.

Вообще приоритет внешнего при зачастую совершенно пустом содержании был, как мне показалось, одной из ярких черт тогдашнего казахстанского вуза. Дресс-код, подчеркну – совершенно неофициальный – очень сильно меня тогда резанул. Для молодежи деловой костюм был буквально «строевым мундиром»: символом одновременно и принадлежности к цеху, и успеха, и потенциала...

Молодые ребята, принятые ассистентами после магистратуры, первым делом покупали костюм, нередко стоимостью в несколько своих зарплат... Галстук и пиджак считались непременно атрибутами «серьезного» преподавателя, безотносительно содержания его занятий. Примат внешнего, стиль «важно казаться, а не обязательно быть» остался для меня одной из главных примет того времени и места... Разумеется, это не означает, что среди моих казахстанских коллег не было серьезных преподавателей и исследователей. Но самые интересные из них постоянно выбывали: кто — в более перспективные казахстанские университеты, кто в Россию. Хотя несколько моих знакомых, к которым я отношусь с большим уважением, до сих пор, насколько я знаю, работают в КарГУ.

Другое впечатление от работы в карагандинском универе — это ощущение участия в постановке провинциального театра абсурда. Стремительно меняющиеся не только планы и стандарты, но и системы работы со студентами. Начав работать осенью 2003-го, я сразу столкнулся с совершенно абсурдной системой организации учебного процесса, которую метко называли «9 с половиной недель» с отсылкой к тематике широко известного фильма. Учебный год делился не на семестры, а на четыре блока длиной те самые пресловутые 9,5 недель. В каждом блоке полагалось строго определенное количество часов лекционных и практических занятий, экзаменов и зачетов. Учебные курсы разбивались как бог на душу положит в центральном аппарате университета, где содержанием предмета не сильно озадачивались. Наиболее абсурдный пример такой разбивки, с которым я столкнулся, предполагал проведение в первом (сентябрь—октябрь) блоке всех семинаров, во втором (до нового года) аудиторных часов не было, но стоял экзамен по этому курсу, в третьем блоке предполагался зачет по курсу, ну а в четвертом оставалось время для лекций. Вместе с завкафедрой приходилось придумывать такие замысловатые схемы решения этих головоломок, что куда там Великому комбинатору... Все это украшалось сверху, как тортик кремовой розочкой, невероятным количеством отчетной документации. Как преподаватель, я должен был вести три(!) журнала текущей(!) отчетности, в которые заносить подробную информацию о каждом занятии. Разумеется, большинство коллег (и я в их числе) не делало этого регулярно — это было и невозможно. В результате непременным атрибутом завершения каждого блока становилось общекафедральное действо — «заполнение журналов»: надо было видеть преподавателей, обложившихся календарями, собственными конспектами, калькуляторами (количество часов должно было сходиться по вертикали, горизонтали и кажется даже по каким-то еще кривым). А поскольку нередко занятия приходилось переносить (из-за блочной системы — нельзя же принять экзамен, не прочитав ни одной лекции), заполнение журналов априорно становилось нарушением трудовой дисциплины... Сейчас, когда у нас в вузах стремительно растет система отчетности, у меня все более крепнет уверенность, что мы идем по неверному пути Паниковского. А статьи об эффектах гиперрегуляции и в том числе и в системе образования Леонида Бляхера, Эллы Панеях, других авторов все более укрепляют в этой мысли...

При всей бешеной аудиторной нагрузке (по количеству «горловых» часов казахстанские вузы уже тогда сильно опережали российские) и невообразимо длинном перечне читаемых курсов (они менялись едва ли не ежегодно) это был интересный, полезный и местами приятный опыт. До сих пор помню, как меня

распирало, когда узнал, что заочники, пропуская две предыдущие пары других преподавателей, специально приезжали ко мне, потому как «интересно». Пожалуй, только там впервые я почувствовал некий отклик на свои преподавательские усилия и научился получать от этого какое-то удовольствие.

В Казахстане не очень много удавалось писать, но несколько интересных сюжетов все же, как мне кажется, получились. Одной из острых тем была проблема миграционного потенциала русскоязычного населения, системы его мотивов к отъезду и условий реализации этого потенциала. Было очень интересно смотреть, как меняется восприятие России, Союза, возможности эмиграции и адаптации в Казахстане в разных поколениях. В этом смысле очень показательным для меня стало исследование путей и инструментов рекрутинга абитуриентов из Казахстана в российские вузы: в центре внимания оказалось поколение, социализировавшееся уже вне союзного контекста, ориентирующееся на новые ценности и жизненные стратегии. Кстати, наверное, здесь я впервые в полной мере почувствовал возможности инструментов качественного исследования — в серии интервью «всплыли» ответы на множество вопросов, «не поднимавшихся» в массовых опросах.

Работая в Казахстане, я в первый, и очень надеюсь, в последний раз, столкнулся с отголоском советской традиции цитирования «классиков марксизма-ленинизма». Только место «великой троицы» и решений очередного съезда КПСС заняли цитаты президента страны... Не то, чтобы это было обязательным... но публикация без такой ссылки была несколько не комильфо, на что мне несколько раз ненавязчиво указывали. Сейчас не слежу за публикациями, выходящими в Казахстане (только очень выборочно, по именам), но еще 7–8 лет назад это было нормой.

Важнейшим для меня опытом, почерпнутым в Казахстане, стала работа с алмаатинским бюро УВКБ ООН. Дело затевалось на интересе содержательном и прагматическом: с одной стороны, было увлекательно поработать в новой сфере, связанной с видами миграции, которые, как правило, оставались в стороне от моих интересов, с другой — банальный поиск дополнительных ресурсов. Написал письмо на официальный адрес, попросил помочь в разработке спецкурса по проблемам беженцев. На мое письмо очень быстро откликнулись, прислали огромную бандероль с книгами, журналами, разного рода материалами и пригласили на учебный семинар. Довольно быстро созрела идея учебно-методического центра для партнеров казахстанского бюро УВКБ: образовательная и издательская деятельность. В течение двух лет проводили учебные семинары, издали учебное пособие по правовому статусу беженцев, несколько сборников документов, издавали бюллетень... Работа и сама по себе очень интересная, но еще и давала возможность встреч с самыми разными людьми: переселенцами из Чечни (после второй войны их очень много оказалось в Казахстане), таджикским и афганскими беженцами, уйгурами... Правда, после отъезд из Казахстана мои связи с УВКБ довольно быстро потерялись, а тематика ушла.

Вы сказали об отъезде из Казахстана, когда это произошло и куда Вы отправились?

В самом начале декабря 2006-го я переехал в Иркутск — новый для меня город, где я к тому времени знал всего несколько человек. Попытка устроиться в университет на переформатировавшуюся тогда кафедру современной отечественной истории не увенчалась успехом: доцент со стороны был менее привлекателен, чем вчерашние аспиранты, но свои. Расстраивался, конечно, серьезно: репатриация оказалась немногим проще эмиграции. Но все к лучшему, ближе к новому году меня согласились взять на работу в мэрию Иркутска на должность начальника отдела стратегического планирования в только что созданное управление стратегического планирования и инновационной деятельности. Надо сказать, мне снова повезло: управление это создавалось по инициативе вице-мера Игоря Вячеславовича Бычкова, ненадолго тогда пришедшего в мэрию из Института динамики систем и теории управления СО РАН. Доктор физмат наук, член-корр, сейчас он возглавляет Иркутский научный центр и все — тот же Институт. Насколько я понимаю, созданное управление было попыткой как-то систематизировать, привести в понятную логику работу администрации города, жившую тогда своей особой логикой, не всегда доступной человеку не из бюрократической среды.

Перед управлением (а в нем поначалу нас работало всего два человека — начальник управления Николай Потороченко и я) было поставлено три основные задачи. Прежде всего, координирование работы по подготовке программ развития города на ближайшие 5 лет (до 2012 года). Энтузиазм, с которым я поначалу взялся за работу, быстро проходил: подходы, порядок работы, отношение к ней совершенно не совпадали с привычными мне. Одна только посылка «надо написать текст, а цели и задачи выработаются позднее» сформулированная представителем генерального подрядчика, стала для меня немаленьким потрясением. Нет, я знал такой подход в студенческих курсовых, но чтоб вот так определять программный документ немаленького города... Нам тогда удалось включить в программу несколько ключевых для развития города проблем, ранее вообще не попадавших в поле зрения городских властей: характер миграции, перспективы изменения структуры населения. Не знаю, насколько это помогло развитию города, но причастность к усилиям сделать его лучше греет до сих пор.

Другой задачей, которую мы пытались решать, была координация муниципальных программ. Знаете, именно тогда я убедился, что анекдоты рождаются не на пустом месте, а то и сами формируют действительность. «Мэрские» ведомства — комитеты — жили в параллельных реальностях: планы одного никак не стыковались с другим. После первого анализа мой начальник делал доклад на ВАКе (высшей административной комиссии — своего рода надстройка над всеми структурами администрации) и зачитывал список улиц города, по которым предполагалось положить асфальт, а через год — водопровод. Говорят, тогдашний мэр орал так, что было слышно двумя этажами ниже. Самое забавное и грустное было в том, что обе программы были взаимно согласованы профильными комитетами. Таких примеров было довольно много, даже удивительно, как Иркутск при таком подходе довольно спокойно пережил 90-е — в городе не было ни веерных отключений, ни серьезных коммунальных аварий. Но попытки выстроить систему согласований и координации успешно провалились: по наивности и неопытности в административных играх мы предложили логичную, как нам казалось, схему. Все профильные программы передавать нашему управлению

для согласования с уже действующими и перспективными планами. И никак не могли понять, почему практически все структуры мэрии принимали это предложение в штыки. Мысль о том, что нас воспринимают, как конкурентов пришла сильно не сразу...

Самой масштабной, наверное, задачей была разработка программы празднования 350-летия Иркутска. Дело было, конечно, не в празднике, а работавшей тогда схеме получения прямого федерального финансирования на развитие города. Самым сложным было разобрать и как-то систематизировать идеи депутатов городской думы, представляющие собой тогда пару пачек бумаги, высотой около полуметра каждая. Взявшись их разбирать, я погрузился в красочный и пугающий своим буйством мир депутатских фантазий. Чего там только не было! Одна идея строительства сети «обзорных вышек, соединенных между собой фуникулерами», для того чтобы «иркутяне и гости города обозревали Иркутск с высоты птичьего полета»... Как мы только не комментировали возможность полюбоваться на город из замерзшей напроочь гондолы фуникулера при скромных для Иркутска минус 25 градусах... А строительство зоопарка с «экзотическими африканскими животными»! Были, конечно, и здравые идеи, многие из которых в последние 2—3 года реализуются уже совсем другим составом иркутской администрации. Но больше двух месяцев я то плакал, то смеялся... К лету седьмого года программа была готова, сверстаны годовые планы, предложения о бюджете программы, но все закончилось ничем: конфликт между мэром и губернатором застопорил продвижение программы в Москву. К идее юбилея вернулись лишь пару лет спустя, когда и времени, и ресурсов оказалось заметно меньше, чем могло бы быть.

Вообще, взаимодействие с «депутатским корпусом» было отдельной и крайне невеселой песней. Отношение администрации и думы априорно выстраивались обеими сторонами как затяжная позиционная война, раскрашивавшаяся время от времени показательными стычками. Иного смысла, кроме демонстрации деятельности, большинство таких стычек не имели. Самым сложным для меня было выстраивание диалога с депутатами, упрекавшими администрацию города в выполнении решений, которые они же сами и принимали не далее как несколько месяцев назад.

Работать в администрации становилось все сложнее психологически. При вполне нормальных человеческих отношениях с коллегами крайне угнетала бессмысленность выполняемой работы. Привычка «подбивать бабки» за неделю или месяц показывала, что несмотря на реально высокую нагрузку и постоянную занятость сухой остаток деятельности был мало заметен... Не скажу, однако, что год работы в роли «муниципального служащего» был совсем бесполезен. За несколько месяцев пришло понимание процессуальности работы администрации — должен идти процесс, *show must go on*, а его результат — дело даже не третьестепенное. С этой позиции бюрократическая логика — единственно верная: на любую бумагу главное дать ответ в «установленный» срок почти безотносительно содержания. Главное — держать мяч в воздухе... Полезный опыт оказался — сейчас понимание этой процессуальной логики и навыки письма на канцелярите до сих пор часто помогают при «письменном» общении с разного рода административными инстанциями.

Отработав год в мэрии, я вместе с Николаем Потороченко перешел работать Фонд регионального развития Иркутской области. Такие вне-бюрократические структуры тогда, кажется, возникали во многих регионах, и позволяли губернаторам решать вопросы не разрешимые в рамках правительства. Здесь разрабатывались планы развития проблемных территорий области, с привлечением серьезных экспертов готовилась концепция развития Иркутской агломерации (часть работ делал Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Княгинина, Центр стратегических исследований ПФО Сергея Градиrowsкого, привлекались серьезные демографы и географы Никита Мкртчян и Сергей Артоболевский и многие другие). Главное, что здесь нашел для себя – это попытка увидеть реальность и проектировать развитие на ее основе. Интересное было время и работа, но подкравшийся летом 2008-го мировой экономический и региональный политический кризисы привели к постепенному сворачиванию работы Фонда. Помимо знакомств с интереснейшими людьми, здесь начало формироваться представление о жизни власти в двух реальностях: существующей в отчетах и складывающейся на самом деле. Было и трудно, и интересно наблюдать, как серьезные люди во властных структурах пытались разрешить это вполне шизофреническое сочетание объективных процессов и соцреализма в ждановской его трактовке (писать не о том, что есть, а о том, как должно быть). Как постепенно нарастает это разрыв и исчезает само понимание его наличия. Признаком последнего стал постепенное исчезновение заказа на объективную информацию. Если еще в 2008 году просили написать «как надо» и отдельно «как на самом деле», то уже спустя пару лет второй вариант был почти не востребован.

Для меня, однако, кризис прошел мягко и почти незаметно: в мае 2008 года меня пригласили работать административным директором в Межрегиональный институт общественных наук (МИОН) при Иркутском университете. Это был проект ИНО-Центра, финансирующийся на паях Минобрнауки, Фондом Мак-Артуров, Институтом Вильсона и еще несколькими организациями. Подобных институций было создано девять – от Калининграда до Владивостока, призванных развивать социально-гуманитарные исследования и образование. Тематикой Иркутского МИОНа стала Сибирь и ее место в России и мире. К моменту моего прихода в МИОН его работа шла уже больше пяти лет, сформировалась несколько направлений. Постепенно центр активности сместился в сферу миграционных и диаспоральных процессов, было выиграно несколько больших грантов от Министерства, удалось провести целый ряд больших межрегиональных проектов, о которых я чуть раньше говорил. Это был один из самых полезных для меня периодов – была масса времени (администрирование проектов МИОНа не предполагало включения в университетскую иерархию с вытекающими из нее обременительными обязанностями), быстро расширялись контакты, интересы, было ощущение важного внутреннего роста.

Два года назад мне предложили работу в университетской администрации – заведование научно-исследовательской частью. Так что теперь я в составе той самой «вузовской бюрократии», которую так жестко и нередко справедливо клянут коллеги по университету. Но и тут есть другая сторона медали. Если коллеги-преподаватели зачастую обвиняют «университетских чинуш» в увеличении вала ненужных бумаг, видят их как еще одного паразита на теле общества, то я часто ощущаю себя буквально на баррикадах, ограждающих университет от атак из-вне:

со стороны министерства, регионального правительства, массы контролирующих органов всех мастей. Пытались подсчитать с коллегой количество только ключевых «мониторингов» и «информаций», которые подает университет в течение года — перевалило за сотню. Масса распоряжений и рекомендаций, прямо или косвенно подталкивающих университет к невыгодным ему решениям, нередко противоречивые указания дают ощущение неуправляемого процесса, машины пошедшей вразнос...

В этой ситуации наука остается отдушиной и формой эскапизма, который в том или ином виде был мне нужен всегда. Это, конечно, не в полной мере бегство от реальности, скорее возможность отключиться от текучки, попытаться мыслить, а не думать над очередным запросом из министерства. Заниматься наукой в таком режиме, наверное, не самый продуктивный вариант, но счастье, что такая возможность есть.

Можно допустить, что Ваш интерес к миграционным процессам постепенно трансформировался в исследовательскую программу, реализация которой позволила Вам подготовить докторскую диссертацию, которую Вы успешно защитили в октябре этого года. Если это так, пожалуйста, расскажите обо всем поподробнее.

Да, так и получилось. Около шести лет назад я проводил анализ миграционных процессов в пригородном районе Иркутска. Специального интереса именно к пригороду тогда не было — просто небольшой заказ от районной администрации на определение специфики развития мелких муниципальных образований. Помимо анализа статистики там предполагалась серия интервью с работниками муниципальных администраций о развитии поселений. Пользуясь случаем, я добавил в гайд несколько пунктов о присутствии иностранных мигрантов. И вдруг выявились совершенно неожиданные вещи: привычная картинка мигрантов как исключенной, даже стигматизируемой группы не складывалась. Напротив, мигранты (как из постсоветской Центральной Азии, так и из Китая) выглядели хорошо интегрированными, довольно тесно включенными в жизнь локальных сообществ. Выявились устойчивые практики неформального найма мигрантов администрациями, и наоборот — найма местных жителей на работу к мигрантам. Последние случаи оказались довольно широко распространенными в пригородных поселениях, сложились устойчивые речевые обороты, не только фиксирующие такие практики, но маркирующие статус нанимающихся... Словом, оказалось, что отношения мигрантов и принимающих сообществ в пригороде серьезно отличаются от устоявшихся взглядов, описываемых в основном на «городском» материале.

Попытка понять, из чего и почему складываются эти особенности, привела к неожиданному открытию: оказалось, что при формальном отсутствии пригорода у Иркутска (как и у других российских городов), на границе города и сельского района стремительно разрастается очень интересное пространство — не сельское и не городское. В первых же интервью, которые я попытался взять у жителей пригородных поселков, всплыли интереснейшие определения своего места жительства: «ни к селу, ни к городу», «село городского типа», «не городской «спальник» города». Да и визуально пригородные поселки заметно выбивались из привычной «колхозной пасторали», не повторяя при этом ни «частного сектора» городских районов, ни краснокирпичных коттеджных поселков «ново-

русского периода». Главным ресурсом их роста оказались вовсе не мигранты из сельских районов, а горожане, перебирающиеся сюда на постоянное место жительства. Это совершенно не вписывалось в образ пригорода, как «аэродрома подскока» для сельских жителей, стремящихся в крупный город. Невольно стали всплывать образы «страны пригородов», которые на первый взгляд плохо совмещались с сибирскими реалиями.

Закономерно появилось желание понять, что же это такое — современный пригород? Феномен это Иркутска или более масштабное явление? Как возникают и чем живут пригородные сообщества? Постепенно стала складываться картина особого социального пространства, находящегося «в тени»: отсутствующего де-юре, формирующегося и функционирующего, преимущественно, на основе неформальных практик (экономических, властных), и, как правило, невидимого для государства. Интервью с «муниципалами», сопоставление полевых наблюдений и статистики сложились в картину двойной реальности у властных структур («по отчетности» и «по факту»)… «Другая реальность» обнаружилась и при попытке анализа пригородной тематики в местном медийном пространстве: хотя пригород стал привычной повседневностью иркутян, в региональных изданиях пригорода, фактически, не было.

Мне показалось, что за частным случаем, который я наблюдаю в Иркутске, присутствует масса интересных процессов и проблем. Затем, наверное, как в любом исследовании: чем дальше, тем больше вопросов, новых поворотов. Да и само противоречие, когда существующее по факту явление формально полностью отсутствует, оказалось весьма интригующим. Встреченные же в публикациях маститых географов и урбанистов утверждения, что предпосылок, почвы для развития субурбанизации в России пока нет, еще более подогрели мой интерес.

Удачно сложились и возможности для «поля»: в администрации пригородного района оказались хорошие знакомые, с которыми мне довелось работать раньше. Это позволило войти в «поле» не только на земле, но и «сверху»: получилось выстроить целую серию интервью с одними и теми же людьми «во власти» на протяжении нескольких лет. Такой лонгитюд оказался и полезен, и увлекателен — крайне интересно наблюдать, как меняется представление управленцев об объекте управления, как рефлексиируют по поводу необходимости втискивать реальную картину в прокрустово ложе «форм», «справок», «информаций», буквально конструировать иную реальность. Вообще то, что формирование пригорода — динамично развивающийся процесс, на мой вкус, добавляет интереса, вносит какую-то важную интригу, дает ощущение очевидца событий. Это очень добавляет драйва, без которого я плохо представляю науку.

Так, проблематика обозначилась. К каким теоретическим выводам Вы пришли относительно форм, многообразия пригородных зон Сибири? Есть ли специфика рассмотренного Вами процесса в Европейском и Дальневосточном регионах? Каково будущее пригородных зон? Можно ли и как этим процессом управлять?

Честно говоря, я не пытаюсь построить всеохватной типологии пригородов. И мне крайне сложно сравнивать пригороды восточной и европейской части страны — круг публикаций по пригородной тематике у нас пока невелик, а возможности для «поля» серьезно ограничены. Потому пока я ограничился пригородами сибирскими, сравнивая формирующиеся за счет сельско-город-

ской миграции (яркий пример — пригороды Улан-Удэ, центра Бурятии), дачные пригороды советского времени и пригороды, формирующиеся за счет субурбанизационной миграции.

Я попытался сосредоточиться на новой модели пригорода, связанной с движением горожан за пределы города. Мне представляется продуктивным взглянуть на формирующиеся на основе такого движения пригороды как на сообщества транслокальные, складывающиеся и живущие за счет эксплуатации границы между городом и сельском как главного ресурса. Ресурс этот, как мне кажется, чрезвычайно масштабен и многообразен, и далеко не исчерпывается разницей тарифов, уровнем цен и доходов. Едва ли не более важным, чем эти различия, становится включение во взаимодействие с локальной (номинально — сельской) властью «городских» социальных сетей, использование в построении пригородной системы отношений «городских» статусов. Значительная часть локальных бизнес-схем строится на основе городского опыта, сформированных ранее практик, связей, отношений. Вместе с тем, это и не простое расширение города: пригород вписывается в систему социальной организации, номинированной и структурой административно-территориального деления, и системой управления, и организацией физического пространства. В результате, формируется пространство, тесно связанное как с городом, так и сельским пространством, но не тождественно ни одному из них.

Маргинальность этого транслокального пространства, однако, не означает его временность, не предполагает абсорбацию пригорода городом в обозримой перспективе. Напротив, мне кажется, что существующая в России жесткая система структурирования регионального пространства, в том числе и через организацию властного поля, обеспечивает сохранение ресурса для развития подобных пригородных сообществ. Мне представляется, что развитие подобного типа пригородов может в значительной мере компенсировать бедность российской урбанизированной среды, стать в какой-то мере альтернативой малым городам, заполнить лакуну в поселенческой структуре.

Но здесь важно еще одно обстоятельство: подобный пригород и его сообщество возникает и динамично развиваются в условиях, когда государство «не видит» их. Пока новый феномен вписывается властью в устоявшийся и номинированный образ, без учета объективных процессов, две «карты» пространства — сложившаяся «благими намерениями государства», и формирующаяся реально, «снизу» успешно сосуществуют. Не случайно в большинстве сфер повседневности пригорода преобладают неформальные практики. Попытка «увидеть» пригород, так или иначе выделив его из дихотомии город-село, приведет, как мне кажется, к исчезновению главного ресурса существования пригорода.

С этим связаны, на мой взгляд, возможности и ограничения управления этим процессом. Эффективными могут быть только косвенные меры, а более привычное российском властному менеджменту прямое вмешательство будет мало эффективным...

Как бы Вы могли описать людей, заселяющих пригороды? Что это за социальная общность, из кого она формируется? Как там вырабатываются правила, механизмы самоуправления?

Люди, заселяющие пригороды, наверное, самый интересная для меня тема. Во-первых, это очень неоднородная группа. Если в Штатах, например, пригороды долгое время (особенно в период формирования) были в значительной мере социально однородны, то в нашем случае переселенцы в пригород — очень разнообразны. Здесь и бизнес (мелкий и средний), и преуспевающие представители «свободных профессий», интеллигенция, квалифицированные рабочие и т. д. Поскольку построить дом в пригороде зачастую оказывается заметно дешевле, чем купить квартиру в городе, в пригородные поселения перебираются и семьи с относительно небольшими доходами, даже неполные семьи... В результате складывается своеобразная группа жителей пригородов («пригорожан»), аналога которой в современной России, как мне кажется, найти довольно сложно. Высоко гетерогенная, она довольно быстро консолидируется, формирует представление о себе как о «горожанах, сбежавших из города», обособляя себя как от города, так и сельского «мира». Интересно складывается и система отношений внутри этой группы и на ее границах. С одной стороны, в противовес традиционным для сельской местности неформальным кланово-родственными отношениями, взаимодействие заметно формализуется: в повседневность входят практики официальных запросов к властным структурам, «подключение» разного рода контролирующих инстанций для «решения» тех или иных проблем. С другой стороны, привычные для горожан дистанции здесь стремительно сокращаются. Переселенцы из города открывают для себя соседей — не в качестве малознакомых «вредителей из-за стенки», но как членов одного сообщества. Мне представляется важным и достаточная открытость таких сообществ: в них достаточно легко инкорпорируются представители новых групп и сообществ, те же трансграничные мигранты, например. Быстро актуализируются и развиваются сетевые отношения, включающие помимо собственно «пригорожан» жителей города и прилегающих к пригороду «традиционных» сельских поселений.

Особенно динамично это процесс идет в небольших пригородных поселках, где производство такого соседства рефлексивируется самими его участниками: с этой целью создаются специальные общественные пространства (например, пруд с зоной отдыха, куда могут попасть только жители поселка), организуются совместные работы и праздники. Это в прямом смысле конструирование сообщества, причем это очень динамичный процесс, который можно отследить в начальных этапах до каких-то результатов на протяжении нескольких лет. Здесь очень рельефно проявляется формирование «альтернативной власти», представляющей собой, как мне кажется, подлинное местное самоуправление. Будучи формально включено в вертикаль муниципальных администраций, фактически такое сообщество действует через неформальных лидеров, не обладающих зачастую формализованными статусами.

Дать обобщенный портрет жителей пригородов поэтому довольно сложно. Но, как мне кажется, их общей характеристикой может быть несколько не социологический термин — «человек фронта». Такое описание, на мой взгляд, очень емко характеризует специфику отношений, складывающихся здесь, включая ориентацию на неформальные практики, открытость, предприимчивость и многое другое. Конечно, применительно к современной России термин «фронт» звучит несколько непривычно, тем более для социолога, но в американской

традиции исследований субурбии, насколько я понимаю, он вполне принят... Да и других направлениях социологических исследований он появляется все чаще — взгляд Сильвии Сассен на мегаполис как фронтир, например.

Вы родились в 1973 году, менее месяца назад защитили докторскую диссертацию по социологии, т.е. многое сделано. А какими Вам видятся Ваши ближайшие годы? Есть ли желание сменить тематику исследований, хотелось бы провести несколько лет в европейских или американских университетах?

Не могу сказать, что у меня есть точный план на будущее. Скорее оно определяется сложившимися и новыми научными интересами, выстраивающимся партнерством с коллегами. Безусловно, пригород останется одним из центральных сюжетов для меня. Сейчас, например, начинаю очередной такт работ, связанный с повседневностью пригорода. Есть задумки по более глубокому анализу неформальной пригородной экономики. Одновременно приходят новые темы, связанные с миграционной тематикой. Вместе с Виктором Иннокентьевичем Дятловым и несколькими коллегами летом — осенью этого года сделали пока небольшой проект по изучению механизмов этнизации городского пространства, прежде всего, через «этнические» рынки. Подготовили по его результатам специальный номер университетского журнала, который должен выйти из печати к новому году. И, думается, у этого проекта будет продолжение. Есть масса интересных сюжетов по социологии Иркутска, прежде всего, о развитии сообщества городского района, сложившегося как поселок при авиазаводе, своего рода — город в городе, постепенно открывающийся городу и миру...

Очень много спонтанных тем, которые рождаются случайно, внепланово. Осенью так внезапно родилась совместная статья с Леонидом Бляхером о границе и ее приходе в сообщества, живущие далеко от рубежей страны. Множество полу-авантюрных идей и проектов рождаются в кулуарах конференций и семинаров, а, как известно, часто самые авантюрные идеи дают самые интересные результаты. Вообще, чем дальше, тем больше захватывает дух такого доброкачественного авантюризма, который не понятно куда вынесет.

Несколько лет в зарубежных университетах — это, конечно, очень заманчиво. Конечно, хотелось бы. Возможности таких стажировок как-то прошли мимо меня в девяностые — начале нулевых. Но несколько поездок в Карлов университет в Праге, Центрально-Европейский университет, к коллегам в Японию дали вкус к таким визитам, да и с практической точки зрения — это был хороший толчок в работе. Хотя, честно говоря, специально этим вопросом я пока не озадачивался — последний год-полтора было не до масштабных планов на будущее.

Да, это понятно. А не могли бы Вы кратко описать Иркутскую социологическую жизнь? Есть ли в городе другие социологические кафедры? Есть ли кандидатские, докторский Совет? Какие возможности с публикациями? К каким городам региона Вы тяготеете?

Социологическая жизнь в Иркутске, конечно, есть, но она очень разная и разрозненная. На мой взгляд, более или менее консолидированного сообщества, даже просто «тусовки», не сложилось. Есть скорее несколько более или менее локальных социологических сообществ, выстраивающих свои профессиональные связи с другими городами и странами самостоятельно. Наверное,

старейшей социологической структурой города является кафедра социологии и социальной работы Байкальского университета экономики и права (бывший институт народного хозяйства). Здесь еще, если не ошибаюсь, во второй половине 60-х — начале 70-х была создана социологическая лаборатория, на базе которой проводились первые исследования «рабочих кадров». Где-то на рубеже 80—90 появляется и кафедра, аспирантура. Основной тематикой здесь остается рынок труда, потому исследования проводятся преимущественно эконом-социологические с явным преобладанием экономики. В моем университете работает институт социальных наук, появившийся в середине девяностых. Здесь самые интересные работы, как мне кажется, делает Олег Кармадонов и его ученики по проблемам социологии символа, социокультурной солидарности... Есть кафедра социологии и социальной работы в технического университете, но с ее коллективом я почти не знаком.

Пожалуй, самые интересные персоналии и организации, работающие в социологической сфере, в Иркутске сложились вне вузов и академических центров. Одним из первых появился Исследовательский центр «Внутренняя Азия», созданный Виктором Иннокентьевичем Дятловым, в начале двухтысячных. Центр занимался региональными исследованиями в сфере этнокультурных и этномиграционных процессов, делал большие проекты при поддержке Фонда Форда в Сибири, Казахстане, Киргизии, Монголии. Сейчас Центр, фактически, перешел в университет.

Из проектов Дятлова того же времени выросла еще одна, успешно работающая до сих пор, организация — Центр независимых социологических исследований и образования. В 2000—2002 под руководством Виктора Иннокентьевича в ИГУ выполнялся грант Форда «Этнополитическая ситуация в Восточной Сибири: мониторинг и анализ». Из одного из направлений этого проекта и коллектива, работавшего над ним, в 2002 г. появляется названный центр, которым руководит Михаил Рожанский. Насколько я знаю, ЦНСИО тесно связан с Центром Виктора Воронкова, поддерживает тесные связи с французскими социологами, демографами, историками, массой коллег из других регионов и стран. За последние 5—7 лет они провели много интересных работ, сделали несколько очень интересных книг по проблемам малых моногородов, современным университетским сообществам. В последние несколько лет очень интересным направлением стали работы Рожанского и его коллег в сфере исторической памяти. Но, наверное, самая большая работа Михаила Яковлевича — это неформальное социологическое образование. ЦНСИО постоянно делает самые разные образовательные проекты: от летних школ до «воскресного лектория», проходящего по субботам. Я бы сказал, что если университетские центры серьезно дистанцированы друг от друга, то ЦНСИО — едва ли не единственная площадка, где встречаются коллеги из самых разных структур. Нельзя, конечно, сказать, что все работающие в социологической и «около социологической» сфере, связаны с ЦНСИО. Но его важнейшая роль в социологической в широком смысле жизни региона несомненна.

Возвращаясь к формальной стороне дела: аспирантура по социологии есть, кажется, во всех крупных вузах города. Исключение, наверное, только медицинский. А вот советов в городе по социологии нет. Одно время работал совет по социальной философии в нашем университете, но он прекратил работу

еще до моего прихода в ИГУ. Защиты каждый вуз выстраивает по своим наработанным схемам, что во многом определяет характер диссертаций и подходы. Университетские диссертации по социологии, как правило, защищаются в Улан-Удэ, где привычны очень формализованные количественные исследования. В других вузах существует другие наработанные схемы, «намоленные места» для защит. Так же и с публикациями: разумеется, есть несколько иркутских изданий, входящих в пресловутый ваковский список (правда, к лету следующего года этот список, видимо сильно сократится в связи с новыми требованиями), где публикуются аспиранты и коллеги. Публикации за пределами региона довольно сложны и нередко дороги. Центральные журналы — особая проблема не в силу даже качества текстов (хотя и это то же большой вопрос), но часто в силу отсутствия «выходов» на редакции. При самой независимой и непредвзятой позиции редакций рекомендации и знакомства продолжают быть значимым фактором...

Это создает серьезную, как мне кажется проблему и характеристику региональной социологии (по крайней мере, у нас). Университетская наука требует формализации статусов и значит защит. Неширокий и в последние пару лет быстро сокращающийся спектр советов, с которым налажены связи, заставляет выстраивать работу «под требования» советов. Диссоветы же в нынешней свистопляске министерских оптимизаций стараются не выходить за пределы устоявшихся и работающих шаблонов, и, едва ли не главным становится пунктуальное, если не больше, соблюдение формальных требований к диссертациям. В этом смысле мне сильно повезло (похоже, я вообще довольно везучий человек) защищаться в хабаровском совете, где мои «качественные» разработки нашли понимание. Да и в целом, выход за пределы устоявшихся вузовских связей чаще и легче всего происходит за пределами вузовской науки, на личных связях и отношениях. Я бы сказал, что вообще все самое интересное в нашей науке получается на неформальных человеческих связях и отношениях. Эта составляющая «провинциальной» науки — как раз то, что выпадает из известной схемы «аборигенной и туземной науки» Михаила Соколова и Кирилла Гитаева. И именно эта составляющая, как мне кажется, является более значимой, нежели формализованная «научная жизнь» провинции. Если можно так выразиться, только за пределами этой «формы» и идет настоящая жизнь...

Мне кажется, что пока мы обошли вниманием Вашу преподавательскую деятельность. Прежде всего, в целом, какова сейчас Ваша учебная нагрузка? какие курсы Вы в последние годы разрабатывали и вели?

И второе, что Вы могли бы сказать о Ваших сегодняшних студентах? Что их интересует в социологии? Каковы их перспективы найти работу по специальности?

Нагрузка у меня не велика — поскольку я совместитель, то всего три курса в год, и есть возможность читать то, что самому интересно и нравится. Это четыре занятия в неделю в осеннем семестре, и по два — в весеннем. После казахстанского опыта — просто праздник какой-то. Поскольку преподаю я на отделении политологии, то и все мои курсы, так или иначе, привязываются к политологической тематике: два курса связанные демографией региона и один — политическая регионалистика. Первые два связаны с моими интересами в демографической проблематике, и я их сам предлагал, когда формировался учебный план по политологии. Последний (регионалистика) появился у меня скорее по просьбе

заведующего кафедрой — нужно было срочно «подхватить» курс и поначалу не особенно нравился мне, был в советском смысле «нагрузкой». Но постепенно получилось развернуть курс от классического политологического содержания в сторону социологического взгляда на регион. Поскольку читаю регионалистику на первом курсе, то едва ли не главной задачей ставлю «ломку шаблона» у ребят. Иногда это и вправду становится ломкой, когда приходит понимание, что нет данности, что регион — это во многом конструкт, подвижная такая сущность. Плюс много читать приходится им, поскольку неизбежно подключается и социологическая литература.

Студентам, конечно, бывает сложно, поскольку параллельно идут другие курсы, где все те стереотипы, которые я пытаюсь преодолеть, используются как базовые понятия, такой раздрай получается. Все-таки совместить идеи, например, Скотта с учебниками политологии (особенно «региональными») бывает не просто... Но мне думается, что лучше сразу, на первом курсе дать понимание не шаблонности жизни, представление о том, что реальность далеко не всегда совпадает с формулировками из учебников и данными официальных документов... Это наверное как раз из моего «мэрского» опыта вырастает, какое-то подспудное желание если не ликвидировать эту немного шизофреническую картину мира во власти, то хотя бы подтолкнуть к пониманию наличия проблемы как таковой...

И, конечно, это возможность самому размышлять. Что мне нравится в работе со студентами — возможность размышлять в диалоге, пусть даже в режиме учебной аудитории. Поскольку моя научная проблематика хорошо укладывается в учебные курсы, довольно часто получается обкатывать какие-то идеи, проговаривать их, пробовать на зуб аргументацию. Бывает именно со студентами интересно проговорить свежую идею — приходится максимально точно формулировать, объяснять несколько раз и с разных стороны. И по анекдоту: даже если студенты с третьего объяснения не поняли, то хотя бы сам понимать начал...

В это смысле, я не разделяю частого скепсиса коллег в отношении нынешних студентов и особенно студентов-политологов. Конечно, есть влияние специфики отбора, часто самые интересные и одаренные ребята уезжают «в столицы». Сказывается и конъюнктурные моменты — чиновничество как профессия (именно так его нередко определяют студенты) весьма и весьма привлекательно. Но часто приходят очень интересные ребята: думающие, открытые к небанальным подходам и идеям. Правда к третьему-четвертому курсу многие из них встраиваются в основное русло нашего политологического образования и часто уже говорят на канцелярите. Поэтому очень рад, что встречаюсь со студентами на первом курсе, когда есть возможность сразу их «отравить» возможность думать иначе. Когда к нам в Иркутск приезжают коллеги, почти всегда «эксплуатируем» их в формате лекций или ходя бы неформальных встреч, и всегда стараюсь привести на эти встречи первокурсников. Пару лет назад у нас прочитал недельный курс Леонид Бляхер и нынешние мои третье- и четверокурсники до сих пор помнят его, кое-кто пробует использовать идеи в курсовых, дипломных. Думаю, что без встречи с ним и той ломки, которая случилась на первом курсе, вряд ли бы они эти идеи восприняли.

Кстати, большой проблемой при работе со студентами-политологами (а по отзывам коллег — и социологами) оказывается внеисторичность их образования и мышления. Это довольно странно: профильный экзамен по истории присутствует на обеих специальностях. И дело даже не в объеме исторических фактов — часто этот багаж довольно большой — а понимания преемственности процессов и событий. Любой анализ региональной ситуации, будь то в политологической или демографической плоскости, они почти интуитивно выстраивают по принципу «здесь и сейчас», «раньше ничего не было». Возможно, это режет мне глаз потому, что «в девичестве» я историк, но думается, что причины все же глубже, в том числе и в большом поколенческом разрыве с родителями, возможно, стремительного изменения мира, оставившего мало работающих связей с прошлым... В этом смысле показательна часто встречающаяся у моих студентов ностальгия по «советскому» — полностью новому конструкту, никак не связанному ни с опытом родителей, ни с советскими образами (хотя бы кино- или литературными).

Но самое сложное для меня в работе со студентами — это довольно часто встречающаяся боязнь самостоятельно думать. Отсюда и желание не понять, а угадать правильный ответ, и шок от того, что правильного, единственно верного, ответа может не быть, и готовность легко принять плоскую картину мира. Но все же это, как мне кажется, не поколенческая черта, скорее проблема среды. Есть и другая проблема для меня как для преподавателя — ставшая популярной модель самопиара, активность ради заметности, узнаваемости. Для меня всегда важно соотношение формы и содержание, и форма, не наполненная осмысленным содержанием, меня как-то не вдохновляет. Для ребят же часто красивая форма, возможность ярко выступить, показать себя (даже не сказав ничего содержательного) оказывается важной сама по себе. Попытка обсудить смысл подобной активности, ее инструментальность, понять «зачем?», часто оказывается диалогом эскимоса и папуаса... Понятно, что за этим есть более или менее осмысленная стратегия, в той или иной степени рефлекслируемая, но смысл и ценность организации того или иного «ивента», от меня иногда ускользает как оттенки снега в определении эскимоса от жителя южных морей.

Но все-равно со студентами мне интересно. Интересно потому, что разные, потому, что другие, потому, что уже есть дистанция, но она еще не в два поколения. Да и просто нравится мне приходить к ним. Особенно если не по четыре лекции каждый день.

Спасибо, Константин, Ваш рассказ очень содержателен.